

В.В. Розанов
Где истинный источник «Борьбы века»?

*По изданию: Собрание сочинений. Религия и культура. Том 26.
Москва, 2008 г.*

*Впервые опубликовано в журнале «Русский Вестник» № 8, 1895 г. под одноименным
названием в качестве рецензии на книгу Тихомирова Л.А. «Борьба века».*

I

Со времен "Республики" Платона, этого раннего и наиболее философского построения возможной действительности на месте существующей, и до грубых учений Бакунина об "аморфизме" обществ через историю культурного человечества проходит ряд полуидей, полужеланий, в которых некоторое лучшее будущее показывается человеку и манит его из юдоли настоящего. "Утопия" Том. Мора, "Civitas solis sive de rei publicae idia dialogus poeticus" Кампанеллы — все эти книги самым именем своим уже показывали, что их содержание составляет лишь частную полумысль, полумечту их авторов, ради которой они не направили бы так, а не иначе ни одного практического своего дела. Но вот настал век, когда эти мечты овладели самой действительностью, точнее — когда они стали действительностью самой ощутимой, самой яркой; выйдя из тиши кабинетов, они волнуют улицу, смущают правительства, грозят порвать правильный ход истории, вмешавшись в естественную связь реально ее составляющих дел. Они становятся центром, душой борьбы, около которой блекнет, представляется незначительной борьба собственно политическая — за территорию, границы, экономические преимущества или влияние государственное. Она — всё одна, одна — уже целый век, когда предметы, орудия, деятели всякой другой борьбы меняются. Эта борьба, которая обнимает собой не государство, ведется не армией, есть, в сущности, борьба *общества* в его неопределенных границах; она ведется *людьми*, напрягает силы *человека*, и вот почему она потрясает всё, что над ним или для него устроено на земле: государство, церковь, экономические отношения, как и семью.

Конечно, источники этой борьбы должны быть чрезвычайно многочисленны и разнообразны; однако есть между ними, несомненно, преобладающие. В самих условиях века, в условиях жизни, именно за этот век выросших, несомненно, таится что-то, что сделало возможным это странное, невероятное за два, за три века назад явление, что идеи, которые могли быть занимательны для застольных друзей Том. Мора или для слушателей Платоновой академии, стали усвоимы и привлекательны для каждого поденщика фабрики, для самого неспособного ученика какой-нибудь технической школы. Нам думается, в двух обстоятельствах, действительно возникших за этот последний век, кроется главная причина, обусловившая такую возможность.

Прежде чем указать эти причины, оговоримся, что нами оставляется совершенно в стороне *предметная* сторона социального брожения, что мы рассматриваем его как *явление* и вовсе не как *программу*. И в самом деле, эта программная сторона, имеющая как будто в виду ответить на некоторые реальные нужды, в действительности не есть самая главная, не есть даже очень значительная в этом брожении. Страдания человека, несовершенства общества — они всегда были, но всегда вызывали сословия, корпорации, семьянина, рыцаря, плебей к борьбе против *этого* определенного страдания, этими определенными способами, без мысли об устройении на новых началах *всех* человеческих отношений. Между тем, что именно связывает все социальные системы, единит их в одну цепь развития — это именно *неудержание* в них чего-либо из строя существующего. Мечта, в которой сохранялся бы католический священник или немецкий пастор, где семья была бы как у Гольдсмита или Толстого, и, наконец, где Моммзен или Липсиус могли бы продолжать свои исторические изыскания, — вот что, по живому и верному инстинкту всех, никогда не засчитывалось и не будет зачтено в ряде "социальных" систем". Существенная черта социализма состоит именно в неудержании чего-либо из старого, и уже к ней прибавляются — как вторичная и менее существенная черта — манящие яркие образы строя нового. Вот почему не будет ошибкой, если, стараясь определить источники этих порывов, мы будем смотреть на них как на некоторый протекающий в истории *психоз* — без всякого, однако, узкого или порицательного значения этого термина. Их существо, мы настаиваем, не в *цели*; это существо — в некоторой особой психической атмосфере нового человека, из которой возникают самые различные цели, самые несходные построения, от фаланстер Фурье до ожиданий Маркса о новом покапиталистическом строе, — все равно образуемые не столько по указанию нужды, сколько по закону их созидательной души.

II

Потеря чувства действительности есть первое и главное из двух условий, на которые мы готовимся здесь указать. Быть может, мы ближе выразили бы природу этого явления, если бы назвали его утратой вкуса к действительному. Взгляд, брошенный назад, к первым социальным построениям, введет нас в понимание этого странного явления. Платон, Томас Мор, Кампанелла — какие изолированные умы, какие уединенные характеры! Мы хотим сказать, как мало связующего осталось между ними и живой действительностью. Они ушли в пустыню своих созерцаний, где, кроме их самих и их "идей", никого не было. И не ближе, как на границе этой пустыни, не иначе, как в положении внимательного слушателя — было человечество. Платон мог, *читая*, восхититься дифирамбом Анакреона; *плясать* в хоре под звуки этого дифирамба — вот чего он никогда бы не мог. Он всё обдумывал устройство Сиракуз, которых раньше не видал; вел мысленно беседы с Дионисием, которого не знал; и даже с Сократом, которого так глубоко понял, так нежно полюбил, он заговорил только после того, как тот выпил чашку цикуты: по крайней мере, ни из его диалогов, ни из воспоминаний Ксенофонта мы не видим, чтобы Сократ сколько-нибудь замечал около себя этого вдумчивого, вечно молчаливого ученика, который, верно, представлялся ему несколько тупым. Афин, Греции, завтрашнего закона, вчера потерянной битвы — вот чего не было, что не шумело, не язвило, не волновало мысль этого человека от лет очень ранних и до глубокой старости. Потеря вкуса к действительности, отъединенность от рода людского — вот имя этого душевного состояния, которое у Платона, Кампанеллы, Мора имеет достаточное себе объяснение в их творческом гении, в обилии растущих изнутри идей, как бы не пропускающих внутрь лучей действительности — по крайней мере, не пропускающих их в достаточном количестве.

Это же явление — чем оно могло быть вызвано в наши дни у каждого почти блузника, у репортера газеты, собирающего для завтра известия, которые уже сегодня никому настоятельно не нужны? *Смещенность* всякого почти человека в этот век с живого места на земле, в которое он хотел бы и не может врасти прочным интересом, понятным трудом, постоянной привязанностью. Я несу свой труд на фабрику или в департамент, которых история мне не очень известна, судьба не очень занимательна и польза сомнительна; и в то же время дети мои, которых прошлое я знаю, их существо мне понятно, будущность — дорога, формируются людьми, их вовсе не знающими иначе как под углом этого для них обязательного труда. Руки каждого в наши дни, его заботы, вни-

мание, мысль приложены не к объектам, с ним кровно или генетически связанным, а к иным и далеким; и к тому, что кровно или генетически с ним связано, приложено постороннее внимание, чужая мысль, живой нитью не соединенная с ним забота. Чувство действительности, не упороченное здесь — в объектах труда, ослабленное там — в объектах привязанности, слабеет неудержимо. Оно слабеет не только как представление, как живой и вечно во мне стоящий образ, но и как воля, как усилие, как мотив деятельности. Мир, касаясь физически непосредственно меня, духовно становится от меня далек. Он, как и для Платона, Кампанеллы, Мора, отодвигается — у них на границу их созерцаний, у меня — на границу некоторой внутренней пустоты. То чувство, тот интерес, с которым я на него смотрю, напоминает несколько тот слабый интерес и чувство, с которым русский солдат времен Елисаветы Петровны смотрел на картофельные поля Померании, по которым он проходил. Касаясь их подошвами ног, скользя по ним взглядом, он мог ими пользоваться или их истребить с равным спокойствием; и как, подходя к ним, ничего настоятельно нужного не приобретал, так, удаляясь, ничего дорогого в них не утрачивал. И между тем (мы возвращаемся к нашим дням) в своей абстрактной необходимости чувство привязанности продолжает жить во всяком человеке. Мы хотим сказать, что в наши годы, в этих новых обстоятельствах, каждый человек остается, как и всегда, живым ростком, органы которого тяготеют к почве, к атмосфере, свету солнца. Он с ними хочет взаимодействовать — это его натура; он выпускает корни, которые напрасно ищут укрепиться в зыбкой, текущей под ним действительности; выкидывает листки, которым навстречу не бегут никакие живительные, греющие лучи. Так называемое "*искание*" — неопределенное, мучительное, в котором все инстинкты человеческие извращены, является последствием этого отношения человека к действительности. Мы часто удивляемся, удивляемся впервые в истории, *жестокостям*, которые совершаются со словами *любви* на языке; мы поражены *деспотизмом*, притеснением, которые налагаются в тех и иных странах (Франция) во имя *свободы*. Мы растеряны, недоумеваем, когда слух наш оглушен тысячью высоких и чистых слов и глаз утомлен кровью, мерзостью, ужасом. И между тем этот непонятный контраст, это непостижимое противоречие дел и слов есть противоречие внутренней природы человека, как она есть, и внешней действительности, как она тоже есть, — контраст залога и исполнения, усилия и осуществления. Лист загнивающий, вместо того чтобы зазеленеть, во все не усиливается стать именно вонючим и темным, его точное усилие направлено именно к свету, к зелени. *Усилия* человека теперь, как и всегда, в первом движении своем, в темном невыраженном своем залоге,

направлены к любви и истине, и между тем ненавистью и ложью проникнуты явно выраженные *дела*.

Если мы отойдем за два, за три века в прошлое или если мы переступим теперь за внешние грани европейской цивилизации, мы увидим, что явление, нами указанное, есть новое и местное. Не только на равнинах Азии, но и у нас, в России, — всюду, куда еще не проникли деятельные условия новой цивилизации, равно как в прошлом целой Европы до эры "разделения труда" в промышленности, в государстве, в обществе, — человек не жил этой разорванной жизнью, где его живое внимание и необходимый труд сосредоточены на разнородном. Существование всякого было цельнее, сосредоточеннее; его труд ему понятен и нужен; и действительность перед всяким взором имела ту самую яркость и свежесть, какую имела в себе самой, — достоинство если и не высокое, то вполне осязаемое. Не было никаких условий для того, чтобы человек, как бы полузабыв об этой играющей вокруг него жизни, стал воссоздавать в своем воображении новую целостную жизнь, и не только воссоздавать, но, ради неверной надежды на ее осуществление, и разрушать действительную жизнь с тем спокойствием и равнодушием, как будто бы это был полусон, полупризрак, а не действительность.

III

Если, не придавая программной стороне социализма значения, мы, однако, примем ее во внимание, как симптом, мы откроем вторую общую причину его быстрого и повсеместного развития. Таящиеся в нем желания — не в главной разрушительной своей стороне, но в положительной и созидательной — общее всего выражены в самом имени его adeptов: *soci* — алисты, *commun'исты*. Индивидуализм новых обществ, индивидуализм не в смысле яркости человеческой личности (скорее она тускла теперь), но в смысле ее разобщенности, оторванности от какого-либо целого, которому она прежде принадлежала в церкви, в цехе, в миниатюрном, хорошо сплоченном государстве, — вот что не переносится человеком в силу также неуничтожимых сторон его души. "Не хорошо человеку оставаться одному" — вот слова, Богом о человеке сказанные, сказанные при самом исходе его бытия, на которые обширным и внушительным комментарием являются социальные порывы нашего века. Мы без труда замечаем, что эти порывы отсутствуют вовсе там, где еще сохранилась счлененность человека с человеком, и присутствуют обок всюду, где только эта счлененность распалась. Ни в крепко связанной семье, ни в хорошо сплоченных сословиях, как духовное или военное, ни в крепком быте, как, например, наш крестьянский, — чув-

ство социалистичности невозможно, не прививается, не встречает себе реагирующей почвы. Социалист — сосредоточим на этом внимание — обычно безроден; это — скиталец, изгой когда-то прочного быта; остаток разрушившейся общественной клетки, который ищет прилепиться к другой и обычно заражает ее собой, потому что в ней действует, но к ней не принадлежит. Он — человек, который потерял свое место в мире и, собственно, потерял всякое взаимодействие с ним, кроме денежного, которое его не удовлетворяет; он в этом мире не имеет обязанностей, ему в нем не нужны права, в нем он блуждает и, блуждая, разрушает, потому что ни к чему не тяготеет, не может тяготеть. Его тоска, его порывы, будучи уродливы по выражению, опасны для общества, нелепы по выказываемой отчетливо цели, — в сущности, здоровы по направлению и индивидуально безвинны по происхождению. Нужно только хорошо это понять и не вдаваться в обман слов; миражи большого чувства и изуродованного ума не принимать серьезно в "программном" смысле. Это — великая социальная болезнь, которая направлением своего течения действительно указывает, что более всего нужно, первое всего необходимо. Необходимо воссоздаться обществу как организму; безродные должны получить родство, бескровные духовно — кровь, безотечественные — отечество не в смысле только территориальном, и социализма более не будет. Не дальнейшее поэтому расширение и расширение хаотической свободы, не снятие с индивидуума последних связей его с целым, в предположении еще облегчить его и тем успокоить, умиротворить, может насытить нового человека; но — мы выговорим пугающее всех слово, в котором, однако, заключено все спасение, — новое всемирное закрепощение человека его долгу, его делу, его *обязанности* перед живым, осязаемым, конкретным целым может только возратить покой его сердцу, свежесть и силы его уму. Подумаем, как узко место, на котором стоит священник, как неподатливы грани, в которых замкнута его жизнь, как недоступна ему праздность, блуд и еще множество дел, мыслей, чувств и, главное, наслаждений, из которых нам дан свободный выбор, — и вот, в своем ограничении он счастлив, умиротворен, когда мы все, в своей свободе, алкаем "неба нового и земли новой".

IV

В интересной книжке г. Л. Тихомирова "Борьба века", посвященной социальному брожению наших и прошлых дней, есть одна сцена, которая, будучи реальна, в то же время чрезвычайно выпукло носит на себе все черты, которые мы соединяем мысленно с этим брожением.

"В Женеве, на сходке *рабочих*, на возвышенном месте стоит оратор, худой и воспаленный. Он жестоко громит зловредный швейцарский строй. "Посмотрите на себя, — восклицает он, — на эти *изможденные* лица *жертв* безжалостной эксплуатации!" А вокруг него сидят женевские рабочие, *красные, полные*, все молодец к молодцу. Уж, кажется, собственные глаза могли бы показать нелепость восклицания. И однако, оратор кричит, а "изможденные" рабочие прекрасно слушают, потягивая пиво из своих кружек.

Один рабочий, которому наскучило слушать *des phrases creuses*¹ о *будущем*, попросил разъяснить ему, как бы устроить, чтобы *теперь* больше зарабатывать. Оратор тотчас *подозрительно* и *иронически* спросил его:

— Да вы рабочий ли?

— Я-то рабочий. Вот мои руки. Они все в мозолях. А вот вы кто — не знаю.

Оратор был захудалый *русский князь* из всечеловеков, никогда в жизни, конечно, не работавший".

Если восклицание изгоя далекой родины мы переведем словами: "Как несчастен я; как несчастен, что никто не удержал меня на той земле, где я родился, в том быте, в котором я вырос, в условиях общественно-исторических, которым принадлежал я от рождения!" — мы поймем социализм не только в сущности его, в страдании, но и в средствах исцелить его.

"Во время президентства Гриви, при бездеятельном почти правительстве, один социалистский депутат, обращаясь к избирателям, говорил перед ними о недостатке свободы во Франции. Яростных восклицаний нельзя было обобратить. Можно было подумать, что дело идет об Иване Грозном. И что же: единственный факт, который приводил оратор, был тот, что на улицах Парижа не допускают процессий с красными знаменами"² (символ социальной революции).

Г-н Тихомиров понимает это буквально. Но оратор хотел сказать, что он не имеет дела, к которому посылался бы утром, не имеет семьи, о которой должен был бы заботиться, крова, который должен был бы защищать и за который трепетал бы ежедневно; и когда в праздности "неделания", в пустыне своей свободы он захотел создать себе отечество под красным знаменем и поволок его по улицам, у него это новое отечество, эту произвольную семью, это выдуманное и, однако, единствен-

¹ пустые фразы (*фр.*)

² "Борьба века", стр. 16—17.

ное у него на земле счастье — отняли. Его жесты, его скорбь, его готовность бороться — понятны, как только на место призрачных слов мы поставим настоящие.

Недостатки книги г. Тихомирова, которые нам показались значительными, все вытекают из того именно, что он понимает "борьбу века" в ее прямом смысле, несколько чистосердечно и наивно, не замечая, что истинная ее сущность лежит в боковых условиях, в невысказанных словах, в том, что вовсе не входит ни в какие социальные "программы". От этого, перебирая характерные черты его занимающего явления, он то растерян, то возмущен; он их оспаривает, за них упрекает — однако так, что в словах его не слышно никакой надежды. В замечаниях его, в характеристиках иногда много меткости, почти глубины. Так, он "характеризует всё явление термином "социальный мистицизм". Но когда, же мистицизм поддавался логике? Когда он отступал перед силогизмом? И наконец, когда он отвечал на будничную, ежедневную нужду? В том, что есть *фактического* в труде г. Тихомирова (напр., с. 10—12, 17—18 и многие другие), он мог бы прочесть опровержение почти всего, чего он боится, чем встревожен, что ищет разрешить как теоретик.

V

Быть *обманываемым* в истории, точнее — надеяться в ней и не получать, есть постоянный удел человека на земле. Можно сказать, надежды *внушаемы* человеку для того, чтобы, манясь ими, он совершал некоторые дела, которые необходимы для приведения его в состояние, ничего общего не имеющее с этими надеждами, но очень гармоничное, ясно необходимое в общем строе всемирной истории. Наши "проекты", наши расчеты и "программы", наши мечты суть нужные рычаги и блоки, с помощью которых некоторые тяжести поднимаются от земли, другие опускаются на землю для возведения здания, в плане которого вовсе не содержится чертежа этих рычагов и блоков. Мысль, что человек в самом деле делает историю, — вот самая яркая нелепость; он в ней живет, блуждает без всякого ведения — для чего, к чему? Мы можем только надеяться, что это блуждание не напрасно; что оно нужно; что, оставаясь покорны ведущей нас руке, мы не погибнем, или погибнем не ранее, чем когда станет это необходимо, и мы всё равно от того не уклонились бы.

Вот почему, не закрывая глаз на действительно великие страдания огромных масс людей, в умиротворении которых предполагается задача и сущность социализма, мы ни на минуту не сомневаемся, что его корень и будущий исход лежат далеко в стороне от подобного умиро-

творения. Оно так же мало входит в раскрывающиеся планы всемирной истории, как мало в Ренессанс входило действительное возвращение к античному миру, в Реформацию — возрождение апостольских времен и сокрушение "Римской блудницы", в революцию — осуществление "естественного братства" людей. Во всех названных нами случаях люди надеялись не менее горячо, верили, по-видимому, также основательно, как теоретики "нового строя" в наши дни, и самые движения тех столетий так же широко раскидывались, так же безбрежны были по содержанию и по массам людей, волнуемых ими, как и социальное брожение, нами переживаемое. И между тем Возрождение перешло неуловимо в "споры этих несносных монахов"; Лютер и Меланхтон сменили Эразма и Ульриха фон Гуттена — но и из их веры, порывов, силы вытекли вовсе не апостольские времена, но бюрократизм, ученость, поверхность и сухость нового протестантства. Революция, безличная, неясная, массовая до Наполеона, — в нем получила себе сосредоточение и лицо, уста говорящие и руку действующую, которые высказали миру ее смысл, очень далеко разошедшийся с тем, какой предполагали в ней мечтатели от Руссо до Кондорсэ. И так же точно, когда социализм тревожит теоретиков экономической науки, пугает правительства, волнует улицу, — историк может спокойно смотреть на эти страхи и завывания, ища далеко, вне точек общего сосредоточения место, куда упадет всеми в страхе ожидаемый факт.

В. Розанов
